

## НЕПОРЯДОК И РАННЕЕ ГОРЕ

В качестве основного блюда были поданы только овощи — капустные котлеты; поэтому вслед за ними сервировался холодный пудинг из отдающего мылом и миндалем порошка, лишь недавно появившегося в продаже, и пока Ксавер — юный слуга в шерстяных белых перчатках, желтых сандалиях и полосатой куртке, из которой он несколько вырос, — водружает его на стол, «большие» осторожно напоминают отцу, что сегодня гости.

«Большие» — это, во-первых, восемнадцатилетняя Ингрид, кареглазая, весьма привлекательная девушка, которой предстоят выпускные экзамены — скорее всего, она их сдаст, хотя бы уже потому, что вскружила голову всем преподавателям и самому директору настолько, что те положительно во всем ей потакают; впрочем, Ингрид отнюдь не думает воспользоваться аттестатом зрелости, а полагаясь на свою приятную улыбку и столь же приятный голосок, а также на ярко выраженный, забавный дар подражания, хочет поступить на сцену, — и, во-вторых, ее брат Берт, светловолосый семнадцатилетний юноша, который ни под каким видом не намерен кончать школу, а мечтает как можно скорее окунуться в гущу жизни, стать либо танцором, либо конферансье в кабаре, либо, на худой конец, даже кельнером, но тогда уже непременно в Каире, с каковой целью он однажды, в пять часов утра, предпринял едва не удавшуюся попытку сбежать из дому. Решительно, он чем-то похож на юного слугу Ксавера Клейнсютля, своего сверстника, — не то чтобы Берт был с виду простоват, напротив, чертами лица он явно напоминает отца, профессора Корнелиуса, — нет, это совсем иное сходство, скорее только какое-то приближение их обоих к одному и тому же типу, причем главную роль здесь, пожалуй, играет преувеличенная одинаковость в одежде, повадках, во всем облике. У обоих густые, очень длинные волосы, небрежно разделенные пробором, и оба делают одинаковое движение головой, отбрасывая их со лба. Когда один из них, в любую погоду без головного убора, в спортивной куртке, лишь ради кокетства перехваченной кожаным ремешком, слегка подавшись вперед да ещё вдобавок склонив голову к плечу, уходя со двора, отодвигает засов калитки или садится на велосипед, — Ксавер по собственному усмотрению пользуется велосипедами господ, дамским тоже, а в особо безмятежном настроении и профессорским, — доктор Корнелиус, глядя из окна своей спальни, при всем желании не может разобрать: кто это — чужой малый или собственный сын? У них вид русских мужичков, думает он, как у одного, так и у другого, и оба они отчаянные курильщики, хотя Берт, за неимением денег, курит меньше Ксавера, который довел свою норму до тридцати сигарет в день, предпочтительно марки, носящей имя прославленной кинодивы.

«Большие» называют родителей «стариками» — и не за глаза, а открыто, уважительно и любовно, хотя Корнелиусу всего сорок семь, а жена его на восемь лет моложе. «Достопочтенный наш старик», говорят они, «славная наша старушка». А родители профессора, запуганные, сбитые с толку старики, доживающие свой век у себя на родине, на языке «больших» именуются «предками». Что касается «маленьких», Лорхен и Байсера, которые обедают наверху с «сизой Анной», прозванной так за сизые щеки, то они, следуя примеру матери, зовут отца просто по имени — «Абель».

Это милое, фамильярно-доверчивое обращение звучит необычайно потешно, особенно когда его лепечет сладкий голосок пятилетней Элеоноры, — судя по сохранившимся детским фотографиям госпожи Корнелиус, она очень похожа на мать, и профессор в ней души не чает.

— Старикашечка, — вкрадчиво говорит Ингрид и кладет свою большую, но красивую руку на руку отца, который, следуя бюргерскому, не лишенному здравого смысла обычаю, восседает во главе семейного стола, напротив жены, — слева от него сидит Ингрид. — Милый родитель, разреши мне коснуться того, что, бесспорно, улетучилось из твоей памяти.

Сегодня после обеда должен состояться «детский крик на лужайке», с селедочным салатом в качестве гвоздя программы. Так что не падай, пожалуйста, духом и не унывай: в девять часов все будет кончено.

— А? — говорит профессор, и лицо у него вытягивается. — Ну что ж, хорошо. — И он кивает головой в знак того, что подчиняется неизбежности. — А я думал... Разве сегодня? Да, да, четверг. Как время бежит! И когда же они пожалуют?

— В половине пятого, — отвечает Ингрид, которой брат неизменно уступает первенство в переговорах с отцом.

Значит, у Корнелиуса еще есть время отдохнуть наверху, куда не доносится шум. От семи до восьми он все равно гуляет, а при желании может даже ускользнуть через террасу.

— О! — бурчит Корнелиус, как бы подразумевая: «Не надо преувеличивать!»

Но тут вступает Берт:

— Ведь это единственный вечер, когда Ваня не занят в спектакле.

В другой день ему пришлось бы уйти в половине седьмого. Гости были бы очень огорчены.

«Ваня», Иван Герцль, первый любовник, восходящее светило Государственного театра, в большой дружбе с Ингрид и Бертом, которые частенько пьют у него чай и навещают его в театральной уборной. Он артист новейшей школы и, с точки зрения профессора, ведет себя на сцене крайне неестественно: принимает вычурно-танцевальные позы и надсадно воет.

Профессора истории этим не купишь, но Берт крепко подпал под влияние Герцля и даже стал подводить глаза, что не раз уже вызывало неприятные, но остававшиеся без последствий объяснения с отцом. С бесчувственностью юности к душевным терзаниям старших Берт заявляет, что все равно он будет подражать Герцлю в каждом его движении не только если изберет карьеру танцора, но даже и сделавшись кельнером в Каире.

Корнелиус, вздернув брови, склоняется перед сыном, тем самым подчеркивая учтивую сдержанность, отличающую его поколение. Ирония этой немой сцены лишена назидательности и не имеет прямого адреса:

Берт в равной мере волен отнести ее к себе и к сценическим дарованиям своего друга.

— А кто еще придет? — спрашивает хозяин дома.

Ему перечисляют ряд имен, более или менее знакомых, — тех, кто живет здесь же в предместье или в городе, а также нескольких гимназических подружек Ингрид. Кстати, надо созвониться еще кое с кем, например, со студентом и будущим инженером Максом Гергезелем. Произнося это имя, Ингрид тут же переходит на слегка гнусавый, протяжный говорок, по ее мнению отличающий все семейство Гергезелей, и так живо, потешно и правдоподобно подражает ему, что родителям от смеха грозит опасность подавиться невкусным пудингом. Ведь и в нынешние времена нет запрета смеяться над тем, что смешно.

Между тем в кабинете профессора заливается телефон, и «большие» мчатся туда, не сомневаясь, что звонят именно им. Последнее вздорование многих заставило отказаться от телефона, но Корнелиусам все же удалось сохранить его, как удалось сохранить и дом, выстроенный еще до войны.

Все это благодаря многомиллионному жалованью, которое причитается Корнелиуеу как ординарному профессору истории. Их загородный дом изящен, удобен, хотя за последнее время несколько обветшал, — из-за недостатка строительных материалов его не ремонтируют, — и вдобавок он обезображен железными печурками с длинными трубами. Но в этом обрамлении, где протекала жизнь некогда состоятельных бюргеров, теперь живут не так, как полагалось бы, — убого и трудно, в поношенном и перелицованном платье. Дети не знают иного образа жизни, для них все это в порядке вещей, — они прирожденные пролетарии из собственного особняка. О нарядах они особенно не беспокоятся. Это поколение довольствуется одеждой, отвечающей требованиям времени, — прямым порождением нищеты и изобретательного вкуса, — летом она сводится к полотняной блузе с кушачком и к сандалиям. Бюргерам старшего поколения приходится труднее.

Оставив свои салфетки на спинках стульев, «большие» ушли в соседнюю комнату и беседуют с друзьями. Звонят все больше приглашенные.

Они сообщают, что придут или что не могут прийти, или же договариваются еще о чем-нибудь, и «большие» объясняются с ними на жаргоне, принятом в их кругу, условном наречии, полном забористо-шутливых словечек и выражений, едва доступных пониманию «стариков». Тем временем и родители совещаются между собой о том, чем бы накормить гостей. Профессор проявляет бюргерское тщеславие. Он хотел бы, чтобы, кроме итальянского салата и бутербродов на черном хлебе, был еще и торт или что-нибудь похожее на торт. Но госпожа Корнелиус говорит мужу, что у него непомерные претензии: «Молодые люди не рассчитывают на такую роскошь»; «большие», вернувшись к своему пудингу, поддакивают ей.

Хозяйка дома, от которой Ингрид, правда более рослая, унаследовала свой внешний облик, утомлена и вконец замучена убийственными трудностями ведения хозяйства. Ей следовало бы побывать на курорте, но теперь, когда все пошло кувырком и почва под ногами так неустойчива, это неосуществимо. Она думает только о яйцах, которые необходимо купить сегодня, и все возвращается мыслью к этим яйцам, ценою в шесть тысяч марок; их отпускают только один раз в неделю в определенном количестве и в определенной лавке, здесь, неподалеку, так что дети сразу же после обеда, оставив все другие дела, должны снарядиться в поход за ними. Дани, соседский мальчик, тоже пойдет вместе с «большими», и Ксавер, скинув подобие ливреи, отправится вслед за молодыми господами. Дело в том, что лавка еженедельно отпускает всего пяток яиц на семью, а значит, молодым людям придется заходить туда врозь, поодиночке, да еще под разными вымышленными именами, чтобы обогатить дом Корнелиусов двумя десятками яиц, — излюбленное развлечение для всех его участников, не исключая и «мужичка» Клейнштютля, но прежде всего Ингрид и Берта.

Они вообще-то очень любят дурачить и «разыгрывать» ближних; делают это на каждом шагу, лишь бы представился случай, даже и не добиваясь награды в виде пятка яиц. Так, скажем, в трамвае они устраивают целые представления, выдавая себя за совсем не тех молодых людей, какими являются в действительности, и громогласно заводя бесконечные, сугубо обывательские разговоры на местном диалекте, которым обычно не пользуются, в самом обывательском духе толкуют о политике, о дороговизне, о каких-то людях, которых и на свете нет, так что весь вагон сочувственно прислушивается к их неумной болтовне, хотя и не без смутного ощущения, что здесь не все ладно. Мало-помалу они набираются дерзости и принимаются рассказывать друг другу чудовищные небылицы об этих несуществующих людях. Так, Ингрид спо-

собна высоким, ломким, пошло чирикающим голосом сообщить окружающим, что она продавщица и что у нее незаконный ребенок, сын с садистическими наклонностями, который намерен в деревне так безбожно истязал корову, что доброму христианину смотреть тошно. Ингрид так забавно чирикает это «истязал», что Берт готов разразиться хохотом, но, сдержавшись, бурно соболезнует злополучной продавщице и вступает с нею в продолжительное, непристойное и вместе глупое словопрение о природе болезненных извращений, покуда пожилой господин, сидящий напротив и засунувший свой тщательно сложенный билет за перстень-печатку на указательном пальце, считая меру терпения переполненной, не начинает открыто возмущаться тем, что нынешняя молодежь так обстоятельно распространяется на подобные «те̑мата» (он употребляет греческое окончание множественного числа от слова «тема»), после чего Ингрид притворно заливается слезами, а Берт лишь отчаянным усилием воли, которого по всем признакам едва ли хватит надолго, обуздывает смертельную ярость, вызванную в нем словами пожилого господина: он сжимает кулаки, скрежещет зубами и весь содрогается, так что пожилой господин, руководствовавшийся только наилучшими побуждениями, поспешно выходит на ближайшей остановке.

Вот в каком духе развлекаются «большие». Телефон занимает не последнее место в их забавах. Они звонят всему свету — оперным артистам, государственным мужам, высоким духовным особам, выдавая себя то за лавочников, то за графа и графиню Манстейфель, и только после длительных препирательств высказывают догадку, что их неправильно соединили. Раз как-то они опустошили вазу, в которой родители хранят визитные карточки знакомых, и рассовали их по почтовым ящикам близлежащих домов, стараясь внести в эту путаницу налет правдоподобия, чем вызвали в квартале великое смятение, ибо как не смутиться, если бог весть кто почел нужным черт знает кого почтить официальным визитом.

Ксавер, теперь уже без перчаток, в которых он прислуживал за обедом, входит в столовую, щеголяя желтым кольцом-цепочкой на левой руке, и, встряхивая волосами, начинает убирать со стола. Пока профессор потягивает свое слабенькое пиво (восемь тысяч марок бутылка) и закуривает сигарету, на лестнице и в прихожей возникает шумная возня — это «маленькие». Они, как обычно после обеда, являются поцеловать родителей и, преодолев сопротивление двери, на ручку которой нажимают совместными усилиями, врываются в столовую, топоча и спотыкаясь о ковер своими торопливыми неловкими ножками в домашних туфельках из красного войлока, на которые сползли носочки. Громко болтая и наперебой выкладывая новости, каждый держит свой привычный курс: Байсер бежит к матери и взбирается к ней на колени, чтобы рассказать, сколько он скушал, и в доказательство предъявить тугой животик, а Лорхен — к «своему Абелю», совсем-совсем «ее» Абелю, как и она совсем-совсем «его» Лорхен, потому что девочка чует и, блаженно улыбаясь, выпитывает в себя проникновенную и немного печальную, подобно всякому глубокому чувству, нежность, какую отец обволакивает свою девочку, и ту любовь, с какою он целует ее изящно вылепленную ручку или висок, где так мило и трогательно просвечивает голубоватая жилка.

«Маленькие», без сомнения, ходят друг на друга, но это скорее неумовимо родственное сходство, усугубленное еще и тем, что их одинаково одевают и причисывают; в то же время они разительно друг от друга отличаются, как, впрочем, и положено мужчине и женщине. Он — ярко выраженный маленький Адам, она — Ева. Что касается Байсера, то он словно бы осознает свое мужское достоинство: и без того более крепкий, более коренастый и плотно сбитый, чем сестренка, он утверждает свое превосходство четырехлетнего мужчины всеми повадками, выражением лица, тем, как он говорит, как расправляет плечи и держит руки на отлете, точно молодой американец, а разговаривая, пренебрежительно кривит рот и старается говорить грубоватым, «взрослым» голосом. Впрочем, вся эта несокрушимая мужественность скорее

зидется на его воображении, чем на действительной основе: рожденный и выкормленный в тревожные, смутные времена, Байсер на самом деле наделен легко возбудимой, неустойчивой нервной системой; он мучительно страдает от жизненных неурядиц, вспыльчив, по малейшему пустяку приходит в отчаяние, заливаясь горячими слезами, заходится от ярости и колотит ногами по полу, почему мать о нем печется с особой нежностью. У него круглые и коричневые, как каштаны, глаза, которые подчас чуть косят, так что, вероятно, ему вскоре придется надеть очки, длинный носик и маленький рот. Нос и рот отцовские, что стало еще очевиднее, когда профессор сбрил усы и бородку клинышком (бородку, право же, нельзя было дольше сохранять, потому что даже человек науки рано или поздно вынужден пойти навстречу требованиям современности). Профессор держит на коленях свою Элеонорхен, маленькую Еву, более грациозную и нежную, чем мальчик, и, отведя подальше руку с сигаретой, позволяет тонким пальчикам теребить его очки, разделенные пополам стекла которых (для дали и для чтения) каждый раз по-новому занимают воображение девочки.

В глубине души Корнелиус сознает, что жена поступает великодушнее, отдавая предпочтение мальчику, ибо беспокойная мужественность Байсера, вероятно, более достойна любви, чем ровная прелесть его дочурки. Но сердцу не прикажешь, думает профессор, а его сердце отдано девочке раз и навсегда, с того самого дня, как она вошла в его жизнь и он впервые ее увидел. И теперь, стоит только ему взять Лорхен на руки, он вспоминает то первое ощущение. Это было в залитой светом комнате женской клиники, где через двенадцать лет после рождения старшего брата появилась на свет Лорхен. Когда, ободренный улыбкой матери, он приблизился к стоявшей рядом с большой кроватью кукольно нарядной кроватке и, бережно раздвинув занавески, обнаружил покоившееся на подушках маленькое чудо, совершенное в своей чистой и сладостной соразмерности, с ручками, тогда еще более крохотными, чем теперь, но уже прелестными, с широко раскрытыми, еще совсем синими, как небо, глазами, отражавшими сияние дня, — он мгновенно почувствовал себя плененным, покоренным: это была любовь с первого взгляда и навек. Чувство — нежданное и негаданное в свете разума — тотчас же завладело Корнелиусом, и, радуясь, изумляясь, он понял, что отныне будет во власти этого чувства до конца своих дней.

Впрочем, доктор Корнелиус знает, что с непредвиденностью, с нечаянностью этого чувства и тем более с полной его произвольностью дело, если разобраться как следует, обстоит не так-то просто. В глубине души он понимает: не так уж неожиданно пришло и вплелось в его жизнь это чувство, нет, где-то в подсознании он был готов воспринять его, вернее, был к нему подготовлен. В нем зрело что-то трудно преодолимое, чтобы в надлежащий миг выйти наружу, и это «что-то» было присуще ему именно потому, что он — профессор истории — странно, необъяснимо даже... Но доктор Корнелиус и не ищет объяснения, а только знает об этом и втихомолку улыбается. Знает, что профессора истории не любят истории, поскольку она совершается, а любят ее, поскольку она уже совершилась; им ненавистны современные потрясения основ, они воспринимают их как сумбурное, дерзкое беззаконие, — одним словом, как нечто «неисторическое», тогда как сердца их принадлежат связному, смирному историческому прошлому. Ведь прошлое, признается себе кабинетный ученый, доктор Корнелиус, прогуливаясь перед ужином вдоль набережной, окружено атмосферой безвременья и вечности, а эта атмосфера больше по душе профессору истории, чем дерзкая суэта современности. Прошлое неизбежно в веках, значит, оно мертво, а смерть — источник всей кротости и самосохранения духа. Шагая в одиночестве по неосвященной набережной, Доктор Корнелиус внутренне отдает себе в этом отчет. Именно инстинкт самосохранения, тяготение к «извечному» увели его от дерзкой суеты наших дней к спасительной отцовской любви. Любовь отца, дитя у материнской груди — извечны и потому святы и прекрасны. Но все-таки эти размышления в потемках приводят Корнелиуса к выводу, что не все ладно

с его любовью, — он этого от себя не скрывает и даже пытается теоретически обосновать — во имя своей науки. Есть что-то предвзятое в возникновении его любви, какое-то враждебное сопротивление совершающейся на его глазах истории, предпочтение прошлого, то есть смерти. Странно, очень странно, и все же это так. В проникновенной нежности к сладостной маленькой жизни, к своей плоти, есть что-то связанное со смертью, противоборствующее жизни, — что ни говори, это досадно и не слишком хорошо, хотя, разумеется, надо быть одержимым идеей аскетизма, чтобы ради подобных умозрительных рассуждений поступиться столь высоким и чистым чувством, вырвать его из сердца.

У него на коленях сидит девочка, болтая в воздухе стройными розовыми ножками, а он, шутливо вздернув брови, нежно и почтительно беседует с нею, восхищенно прислушиваясь к тому, как Лорхен ему отвечает и своим сладостным высоким голосом лепечет «Абель». Он обменивается выразительными взглядами с женой, которая нянчится со своим Байсером и нежно журит его, уговаривая быть умным и благовоспитанным, потому что не далее как сегодня, при очередном столкновении с жизнью, он снова впал в неистовство и завывал, как беснующийся дервиш. Порою Корнелиус с некоторым сомнением поглядывает и на «больших», — быть может, и они не чужды научных выводов, что приходят ему на ум во время вечерних прогулок? Возможно, но по ним это незаметно. Упершись локтями в спинки своих стульев, они снисходительно и не без иронии взирают на родительские утехы.

На «маленьких» искусно вышитые платица из плотной ткани краснокирпичного цвета, когда-то принадлежавшие Ингрид и БERTУ, совершенно одинаковые, только что у Байсера из-под платья выглядывают короткие штанишки. Подстрижены дети тоже одинаково, «под пажа». Светлые волосы Байсера, кое-где потемневшие, принимают самые различные оттенки и растут как попало, торчащими вихрами — похоже, что он неловко на себя нахлобучил потешный паричок. А каштаново-коричневые мягкие и блестящие, как шелк, волосы Лорхен не менее прелестны, чем она сама.

Они закрывают ей ушки — как известно, разной величины. Одно — вполне нормальное, другое же — не совсем правильной формы и, бесспорно, слишком большое. Отец иногда отводит мягкую прядку волос и, словно впервые обнаружив этот маленький недостаток, преувеличенно изумляется, чем очень смущает и в то же время очень смешит свою Лорхен. Ее широко расставленные глаза отливают золотом, в ласковом и ясном взгляде лучится нежность. Бровки светлые. Носик еще совсем не определившийся, ноздри вырезаны широко, так что дырочки почти что совершенно круглые, рот большой и выразительный, подвижная, прихотливо изогнутая верхняя губка вздернута. Когда девочка смеется и показывает свои жемчужные, но не сплошные зубки (один Лорхен недавно потеряла; он качался во все стороны, и отец выдернул его с помощью носового платка, а она вся побледнела и затряслась), на ее щеках, еще по-детски пухлых, но с четко очерченными скулами — вся нижняя часть лица у Лорхен слегка выдается вперед, — ясно обозначаются ямочки. На одной щеке у нее родинка, покрытая легким пушком.

Вообще-то Лорхен не вполне удовлетворена своей внешностью, а стало быть, к ней неравнодушна. Она с грустью сообщает, что «личико у нее некрасивое», зато «фигурка славенькая». Лорхен любит «взрослые», книжные словечки, вроде «пожалуй», «разумеется», «окончательно», и нанизывает их одно на другое. Недовольство Байсера самим собой относится скорее к области духа. Он склонен к самоуничижению, мнит себя великим грешником из-за своих припадков ярости, убежден, что рай не для него и что он угодит прямо в «преисподнюю». Тут не помогают никакие заверения, что бог всемогущ и милосерд даже к грешникам. С унылым ожесточением качая головой в неловко нахлобученном «паричке», он утверждает, что райское блаженство ему зака-

зано. При малейшей простуде он кашляет и чихает, у него течет из носа, а внутри все хрипит: он сразу же пышет жаром и только и знает, что сопит и пыхтит.

«Детская Анна», весьма мрачно настроенная относительно его физической конституции, предрекает, что мальчика с такой невиданно «густой» кровью рано или поздно хватит «кондрашка». Как-то раз ей даже почудилось, что страшное мгновение уже пришло: в наказание за неистовый приступ ярости Байсера поставили носом в угол, и его лицо — как кто-то вдруг заметил — все посинело, стало еще более сизым, чем у «сизой Анны». Анна подняла всех на ноги, возвещая, что вот густая кровь мальчика приблизила-таки его смертный час, и гадкий Байсер, вполне законно изумляясь неожиданному обороту судьбы, увидел вокруг себя встревоженные, ласковые лица взрослых, откуда не выяснилось, что роковая синева вызвана не приливом крови, а тем, что окрашенная индиго стена детской слиняла на его затопленное слезами лицо.

Следом за «маленькими» вошла в комнату «детская Анна» и остановилась у дверей, сложив руки под белым передником; жирно напомаженные волосы, глаза гусыни — все в ней говорило о несокрушимом достоинстве и глупости.

— Малыши-то у нас какие умники стали! — объявляет она, намекая на образцовый уход и свои педагогические заслуги.

Не так давно ей удалили семнадцать больных корней, заменив их искусственной челюстью из темно-красного каучука, с соответствующим количеством ровных желтых зубов, ныне украшающих ее крестьянскую физиономию. В душе «детской Анны» живет странная уверенность, что все на свете только и говорят что об ее искусственной челюсти, и даже воробьи на крыше свиристыят о ней. «Немало напраслины на меня повозводили, — говорит она сурово и загадочно, — когда я вставила себе новые зубы». Она и вообще тяготеет к туманным речам, недоступным пониманию окружающих, и любит, например, толковать о некоем докторе Блайфусе, «которого знает любой ребенок, а в том доме, где он живет, квартирует еще много таких, что выдают себя за него». С этим приходится мириться, закрывать глаза на ее чудачества. Она учит детей отличным стишкам, например:

Рельсы, рельсы, паровоз!  
Пар шипит из-под колес!  
Едет он или стоит —  
Все равно гудит, гудит!

Или скудному, в согласии с переживаемым временем, но все же веселому перечню трапез на неделю:

Понедельник — начало недели,  
Во вторник совсем мы не ели,  
Среда так лежит посрединке,  
В четверг мы глотаем слезинки,  
В пятницу рыбки закажем,  
В субботу голодные пляшем,  
Зато в воскресенье пируем,  
Свининку с салатом смакуем.

Или некоему, исполненному загадочно-туманной романтики четверостишию:

Распахните-ка ворота —  
Экипаж у поворота,

В экипаже господин.  
Восхитительный блондин.

Или же, наконец, душераздирающей балладе о Марихен, которая, сидя «на утесе, на утесе, на утесе», расчесывала свои, уж разумеется, «кудри золотые». А не то еще про Рудольфа, который извлек «свой кинжал, свой кинжал, свой кинжал», что также отнюдь не привело к счастливой развязке. Все это Лорхен, с ее подвижной рожой и сладким голоском, поет и читает куда лучше, чем Байсер. Да она и все делает лучше его; мальчик в восторге от нее и беззаветно подчиняется всем ее прихотям, до тех пор пока в него не вселяется бес озлобления и строптивости. Лорхен охотно просвещает Байсера, в книжке с картинками показывает ему птиц и научно классифицирует их: «тучеед, градоед, грачеед». Лорхен наставляет его и в медицинской премудрости, учит, какие бывают болезни: «воспаление легких, воспаление крови, воспаление воздуха». Если Байсер оказался недостаточно внимателен и не вытвердил урока, она ставит его в угол. Как-то раз Лорхен даже наградила его затрещиной, но потом так застыдилась, что сама себя надолго поставила в угол.

Что ж, «маленькие» отлично ладят друг с другом, и сердца их бьются согласно. Они сообща переживают все, что происходит в их жизни. Еще возбужденные прогулкой, они, придя домой, в один голос оповещают о том, что сейчас на дороге встретили «двух взрослых му-муу-шек и одну ма-а-аленькую телятинку». С прислугой, с «нижними» — с Ксавером и дамами Хинтерхефер, двумя сестрами, некогда принадлежавшими к честному бюргерскому семейству, ныне же выполняющими обязанности кухарки и горничной — «au pair» (то есть за стол и кров), — они живут душа в душу, — во всяком случае, отношения «нижних» с родителями им часто напоминают их собственные. Когда «маленьким» за что-нибудь достается, они мчатся на кухню и возглашают: «Господа сегодня не в духе!» И тем не менее играть веселее с «верхними», особенно с «Абелем», когда он не пишет и не читает. Он придумывает чудесные, куда более забавные штуки, чем Ксавер или дамы Хинтерхефер. Лорхен и Байсер играют, будто они «четыре господина», и идут гулять. И вот «Абель» присаживается на корточки и, став таким же маленьким, как они, берет их за руки и отправляется с ними гулять. В эту игру они никак не могут досыта поиграться. Целый день напролет готовы все «пятеро господ», включая и ставшего маленьким «Абеля», вот так семенить по столовой.

Кроме того, имеется крайне захватывающая игра в «подушку», она заключается в том, что кто-нибудь из малышей, обычно Лорхен, якобы тайком от «Абеля» залезает на его стул за обеденным столом и тихо, как мышка, ждет его прихода. Глядя по сторонам и ее не замечая, Корнелиус долго толкует о достоинствах своего стула, потом приближается к нему и садится, не глядя на Лорхен.

— Как?! — говорит он. — Что такое?! — и начинает ерзать взад и вперед, будто и не слыша приглушенного хихиканья за его спиной, которое становится все более громким. — Кто положил подушку на мой стул?! Да еще такую твердую, колючую, противную подушку — сидеть на ней на редкость неудобно!

И он с новыми силами ворочается на этой удивительной подушке, тиская за спиной что-то восторженно визжащее и пыхтящее, покуда наконец не догадывается, что надо обернуться. За сим следует немаловажная сцена узнавания и открытия, ею все представление и завершается. И эта игра от стократного повторения не утрачивает очарования новизны, не делается менее увлекательной.

Но нынче не до забав! Беспокойство нависло в воздухе из-за предстоящего праздника «больших», а «большим» еще надо успеть, распределив роли, сходить в лавку за яйцами. Едва только Лорхен продекламировала «Рельсы, рельсы, паровоз!»,



а доктор Корнелиус, к великому ее замешательству, обнаружил, что одно ее ушко многим больше другого, как к Берту и Ингрид присоединяется соседский мальчик Дани; Ксавер тоже уже сменил полосатую ливрею на куртку и сразу стал походить на мальчишку, впрочем по-прежнему щеголеватого и разбитного. Что ж, «детская Анна» и ее питомцы возвращаются наверх, в свой мирок, профессор, следуя ежедневной привычке, скрывается за дверьми своего кабинета, чтобы углубиться в чтение, а госпожа Корнелиус, всецело поглощенная мыслями об итальянском салате и бутербродах с селедочным паштетом, спешит все это приготовить до прихода гостей. К тому же она должна, захватив сумку, съездить на велосипеде в город — нельзя же допустить, чтобы ее наличные деньги еще больше обесценились, прежде чем она обратит их в хлеб насущный.

Удобно расположившись в кресле, Корнелиус читает. Между его указательным и средним пальцами дымится сигара. У Маколея он находит кое-какие сведения о возникновении государственного долга в Англии конца семнадцатого века, а у французского автора — о росте задолженности в Испании конца шестнадцатого, — то и другое пригодится ему для завтрашней лекции. Поразительный экономический расцвет Англии он хочет противопоставить пагубным последствиям, к которым ста годами ранее привело Испанию увеличение государственной задолженности, и выяснить нравственные и психологические основания данного различия.

Кстати, это позволит ему перейти от Англии в царствование Вильгельма Третьего, которой, собственно, и посвящена его лекция, к эпохе Филиппа Второго и контрреформации, а это — конек Корнелиуса. Он сам написал на эту тему примечательный труд, на который нередко ссылаются его коллеги: ему-то он и обязан своим званием ординарного профессора истории. Сигара почти докурена, пожалуй, под конец она становится чересчур уж крепкой, а меж тем в его голове беззвучно складываются окрашенные легкой меланхолией фразы и целые периоды, которые он завтра преподнесет своим студентам; он расскажет им о безнадежно обреченной борьбе медлительного Филиппа против всего нового, против хода истории, расскажет о разрушающем державу влиянии его деспотической личности, о германской свободе, об осужденной жизнью и отринутой богом борьбе косной знати против новых сил, против всего передового. Корнелиус находит эти фразы удачными, но продолжает их оттачивать, ставя на места использованные книги, да и потом, подымаясь к себе в спальню, чтобы там полежать с закрытыми глазами и при закрытых ставнях, — он нуждается в этом часе передышки, хотя, вернувшись от умозрительных размышлений к действительности, понимает, что сегодня час его отдыха протечет под знаком предпраздничных домашних неурядиц. Он улыбается тому, что одна мысль о вечеринке вызывает у него сердцебиение; плавные фразы о Филиппе, облаченном в тяжелые черные шелка, мешаются с мыслями о домашнем бале. Минут на пять он засыпает...

Он лежит и дремлет, но ясно слышит, как у входной двери то и дело заливается звонок, как хлопает садовая калитка. И каждый раз при мысли о том, что юные гости уже здесь, уже собрались, толпятся в гостиной, он вновь испытывает острое, как укол, чувство беспокойства, ожидания, томительной неловкости; и каждый раз вновь и вновь внутренне усмехается над этим уколом, хотя и понимает, что его усмешка тоже лишь проявление нервозности, правда сдобренной толикой радости, — кто ж не радуется празднику?.. В половине пятого, (на дворе уже темнеет) он встает и подходит к умывальнику: вот уже год, как таз дал трещину. Это перевертывающийся таз, но один шарнир вышел из строя, и починить его нельзя: водопроводчика не дозовешься, нельзя купить и новый, — таких тазов больше нет в магазинах. Пришлось его кое-как подвесить над мраморной доской со стоком, и теперь, чтобы вылить воду, следует высоко поднимать его двумя руками и перевертывать. Глядя на таз, Корнелиус кача-

ет головой, как делает это много раз на дню, но затем тщательно готовится к выходу, протирает под лампой до блеска и полной прозрачности стекла своих очков и идет вниз, в столовую.

Когда он спускается по лестнице, к нему снизу доносится пестрый шум голосов и звуки- граммофона, который уже успели завести, и лицо его немедленно принимает светски любезное выражение.

«Пожалуйста, без церемоний, прошу вас! Только не стесняйтесь!» — скажет он и проследует прямо; в столовую выпить стакан чаю. Это приветствие кажется ему наиболее отвечающим данному моменту: оно прозвучит весело и радушно, ему же самому послужит надежным укрытием.

Гостиная залита светом. Горят все электрические свечи в люстре, за исключением одной, которая давно перегорела. Остановившись на нижней ступеньке лестницы, Корнелиус обозревает гостиную. Все здесь очень выигрывает при ярком освещении; Хороши и копия Маре над камином из обожженного кирпича, и деревянная панель, и красный ковер, на котором группами стоят гости с чашками в руках, болтая и жуя бутерброды с селедочным паштетом. Праздничная атмосфера — дыхание платьев, волос — веет над гостиной, такая особенная, знакомая, словно разбуженное воспоминание. Дверь в переднюю открыта, так как гости все прибывают.

Толчая в гостиной ослепляет профессора: в первое мгновение для него все сливается в одно. Он даже не заметил, что совсем рядом с ним, у лестницы, стоит со своими приятелями Ингрид в открытом темном платье с белой плиссированной отделкой. Она кивает ему и улыбается, показывая красивые зубы.

— Отдохнул? — тихонько, чтобы никто не услышал, шепчет она.

И когда он с искренним удивлением узнает ее, Ингрид знакомит отца со своими друзьями.

— Позволь тебе представить господина Цубера, — говорит она, — а это фрейлейн Пляйхингер.

У господина Цубера довольно невзрачный вид, зато девица Пляйхингер прямо-таки воплощенная Германия: она белокура, дебела; одета, впрочем, крайне легкомысленно. Носик у нее вздернутый, а голос, как часто у полных женщин, очень высокий, что тут же выясняется, когда она отвечает на любезное приветствие профессора.

— Рад видеть вас, — говорит он. — Как мило, что вы навестили нас... Вы одноклассница Ингрид?

Господин Дубер — партнер Ингрид по гольф-клубу. Он трудится на экономическом поприще, то есть попросту работает в пивоварне своего дядюшки. Профессор шуточно перекидывается с ним несколькими словами о жиденьком пиве, будто и впрямь верит, что юный Цубер имеет решающее влияние на качество пива в стране.

— Но, пожалуйста, без церемоний, не стесняйтесь, господа! — бросает он, порываясь пройти в столовую.

— А вот и Макс явился! — говорит Ингрид. — Слушай, Макс, где ты шлялся так поздно, бродяга, ведь танцы и игры не ждут!

Все они между собою на «ты» и общаются друг с другом, на взгляд стариков, более чем странно: сдержанностью, обходительностью, салонными манерами эта молодежь не грешит.

Юноша в белоснежной крахмальной сорочке с узким галстуком бабочкой, какие носят к смокингу, идет из передней к лестнице и кланяется.

Темноволосый, но розовощекий и, конечно, бритый, только на висках оставлены маленькие бачки, — он удивительно хорош собою, но не приторной, назойливо-пылкой красотой цыгана-скрипача, — нет, у него приятная, располагающая внешность вполне порядочного человека, нокоряюще-ласковые черные глаза, и он даже еще не умеет достаточно хорошо носить свой смокинг.

— Ну, ну, не ворчать, Корнелия! — говорит он. — Если бы не эта ерундовая лекция! — И Ингрид представляет его отцу как господина Гергезеля.

Так вот какой этот господин Гергезель! Он учтиво благодарит хозяина, пожимающего ему руку, за любезное приглашение.

— Я жутко задержался... сплошная мура! — говорит он шутливо. — Надо же, чтобы лекция именно сегодня затянулась до четырех часов!

А потом еще пришлось заскочить домой переодеться... — И тут же принимается рассказывать о своих туфлях-лодочках, которые сейчас в передней причинили ему немало хлопот. — Я приволок их в сумке, — повествует он. — Нельзя же, право, топтать по вашему ковру в уличных башмаках, но на меня нашло помрачение, я не захватил рожка и никак не мог втиснуть ноги в туфли, ха-ха, вообразите! Вот так влип! Отроду не носил таких тесных туфель. Номера перепутаны, верить им в нынешнее время никак нельзя, и вдобавок их стали теперь шить из какой-то немыслимо жесткой материи — взгляните-ка. Не кожа, а чугун! Едва не покалечил себе указательный палец! — И он с наивным простодушием протягивает покрасневший палец, снова повторяя, что «влип», да еще «премерзко влип»...

Макс и в самом деле говорит точно так, как передразнивает его Ингрид: слегка в нос и растягивая слова. Но это не рисовка, просто так говорят все Гергезели.

Доктор Корнелиус выражает сожаление, что в передней нет рожка для обуви, и соболезнует гостю по поводу его пальца.

— Ну, а теперь, пожалуйста, без церемоний, прошу вас, не стесняйтесь! — говорит он. — Всего наилучшего! — и проходит в столовую.

Там тоже полно гостей. Обеденный стол раздвинут во всю длину, и молодежь распивает чай. Но профессор идет напрямик в свой уголок, где стены обтянуты расшитой тканью и круглый столик, за которым он обычно пьет чай, освещен особой лампой. Оказывается, и жена его здесь. Она беседует с Бертом и еще двумя молодыми людьми. Один из них — Герцль, они знакомы. Профессор здоровается с ним. Другого молодого человека зовут Меллер. Похоже, что он из числа «перелетных птиц»; он не имеет, да и не желает иметь благопристойного вечернего костюма (по правде сказать, они вообще-то перевелись) и очень далек от того, чтобы разыгрывать из себя «денди» (да, собственно говоря, и денди-то давно уж перевелись). Он щеголяет в куртке с кушаком и в коротких брюках, у него лохматые волосы, длинная шея и роговые очки. Меллер — банковский служащий, но, как сообщают профессору, кроме того, подвизается и на поприще искусства, изучает фольклор, собирает и поет народные песни всех стран и народностей. Вот и сегодня его попросили принести гитару, но пока она еще висит в передней, упрятанная в клеенчатый футляр.

Актер Герцль низенького роста и тщедушен, зато у него буйно растет борода, о чем свидетельствуют синеватые, густо запудренные щеки. Глаза у него очень большие, пламенные, невыразимо скорбные; к тому же он не только пудрится, но и не гнушается пускать в ход румяна: нежная розовость его щек, безусловно, искусственного происхождения.

«Странно, — думает профессор, — казалось бы, одно из двух: или скорбь, или румяна. Вместе взятое это говорит о душевном разладе. Можно ли румяниться от избытка скорби? Но, должно быть, в этом и заключается столь чуждый нам «духовный строй артиста», допускающий подобные противоречия, а возможно, и состоящий из таких. Забавно, но все же надо быть с ним полюбезнее. Это вполне закономерно, на том стоят артисты».

— Не хотите ли кусочек лимона, господин придворный артист?

Придворных артистов давно уже нет, но господину Герцлю приятно, когда его так титулуют, хотя он поборник революционного искусства. Еще одно противоречие, отличающее его духовный строй! Профессор не ошибается, приписывая ему эту сла-

бость, и льстит актеру, стремясь хоть сколько-нибудь искупить тайное отвращение к нарумяненным щекам.

— Премного благодарен, уважаемый господин профессор! — выпаливает Герцль так поспешно, что если бы не незаурядная техника речи, он бы, казалось, вывихнул себе язык. Он и вообще ведет себя в отношении хозяев, прежде всего хозяина дома, с величайшей, можно даже сказать, унизительно заискивающей почтительностью. Похоже, что его мучает совесть: он не мог противостоять внутренней потребности нарумяниться, теперь же, мысленно ставя себя на место профессора, порицает себя за это и подчеркнутой скромностью хочет умиловить и задобрить все остальное не нарумяненное человечество.

За чаем завязывается беседа о собранных Меллером народных песнях, испанских и баскских, с этих песен разговор перескакивает на новую трактовку «Дон Карлоса» Шиллера — последняя премьера Государственного театра. Дон Карлоса играет Герцль.

— Надеюсь, — говорит он, — что мой Карлос вполне монолитный образ.

Затем они начинают по косточкам разбирать остальных участников спектакля, а также постановку и то, в какой мере театру удалось воссоздать эпоху; и вот профессор уже втянут в привычное русло, уже рассуждает об Испании времен контрреформации. Ему даже досадно, ведь он ничего такого не сделал, отнюдь не повинен в том, что разговор принял то или иное направление; и все же он опасается, что со стороны могло показаться, будто он хотел блеснуть своей ученостью; озадаченный, он обрывает свое рассуждение. Он рад появлению Лорхен и Байсера. На «маленьких» воскресные платица из голубого бархата, они тоже хотят по-своему принять участие в празднике до того, как их уложат спать. Робея, широко раскрыв глаза, они здороваются с гостями, покорно говорят, как их зовут и сколько им лет.

Господин Меллер только внимательно смотрит на детей, но актер Герцль выказывает неумеренный восторг и умиление. Он возводит очи горе, набожно складывает руки, только что не благословляет «маленьких». Возможно, что это идет от сердца, но привычка к условному сценическому действию делает его слова и жесты невыразимо фальшивыми; кроме того, этим ханжеским благоговением перед детьми он как бы искупает свои нарумяненные щеки.

Гости уже встали из-за стола и теперь танцуют в гостиной, «маленькие» тоже бегут туда, подымается и профессор.

— Не скучайте же, веселитесь, пожалуйста! — говорит он, пожимая руки Меллеру и Герцлю, одновременно к ним вскочившим с мест. И уходит в свой кабинет, в свое тихое царство; там он опускает жалюзи, зажигает настольную лампу и садится за работу.

Эта работа в конце концов не требует спокойной обстановки: несколько писем, кое-какие выборки. Разумеется, сейчас Корнелиус немного рассеян.

Он весь во власти мимолетных впечатлений — тут и жесткие туфли господина Гергезеля, и тонкий голосок, слышавшийся из пышных телес Пляйхингер. Он сидит и пишет или, откинувшись в кресле, смотрит в пространство, а мысли его убегают к баскским песням, собранным Меллером, к преувеличенному смирению и фальшивому пафосу Герцля, к «его» Карлосу, ко двору Филиппа Второго. «Странная, таинственная штука — разговоры, — думает он. — Они податливы и сами собой сворачивают на то, что тебе всего интереснее». Он замечал это уже не раз. Между тем он прислушивается и к шумам домашнего бала, впрочем весьма умеренным. До него доносится только невнятный говор, не слышно даже шарканья. Да они, собственно, и не шаркают, не кружатся, а как-то странно шагают по ковру, который им нисколько не мешает, и ведут своих дам не так, как было принято в дни его юности, и все это под граммофонную музыку, сейчас больше всего занимающую Корнелиуса, — под эти

диковинные мелодии нового мира, в джазовой оркестровке, гремящей ударными инструментами; граммофон отлично воспроизводит их медные звуки, равно как и отрывистое щелканье кастаньет; это щелканье тоже отдает джазом, а отнюдь не Испанией. Да, да, не Испанией! И тут он снова возвращается в русло привычных мыслей.

Полчаса спустя Корнелиуса осеняет мысль, что с его стороны было бы очень мило внести свой вклад в это празднество в виде сигарет. Не годится, думает он, чтобы молодые люди курили у него в доме собственные сигареты, хотя им самим это, пожалуй, даже невдомек. Он идет в опустевшую столовую, извлекает из своего запаса в стенном шкафчике коробку сигарет, — надо сказать, не из лучших, вернее, не из тех, какие он предпочитает, — эти, на его взгляд, слабоваты и слишком длинны, и он ими поступится охотно, раз представился такой случай, а для молодежи хороши и такие.

С сигаретами он идет в гостиную; улыбаясь, помахивает коробкой в воздухе, раскрывает ее, ставит на камин и, немножко постояв, уже чувствует себя вправе удалиться.

Сейчас как раз перерыв в танцах, граммофон безмолвствует. Вдоль стен гостиной, возле старинного столика с гербами, в креслах перед камином, кто стоя, кто сидя, непринужденно болтают молодые люди. На ступеньках внутренней лестницы, на потрёпанной плюшевой дорожке, амфитеатром расположились юноши и девушки: например, Макс Гергезель рядом с дебилой Пляйхингер, которая не сводит с него глаз, в то время как он, полулежа, размахивает рукой и что-то ей рассказывает... Середина гостиной пуста; только под самой люстрой, нескладно обнявшись, бесшумно, сосредоточенно, замороженно кружатся двое «маленьких» в своих голубых платьицах. Проходя мимо, Корнелиус нагибается, говорит несколько ласковых слов, гладит детей по головкам, но они не отвлекаются от своего маленького и очень важного дела. У двери своего кабинета он оглядывается и видит, как студент, будущий инженер Гергезель, вероятно, потому, что заметил профессора, соскакивает со ступеньки, разлучает Лорхен с братом и, без музыки, начинает препотешно с нею танцевать. Согнув колени и присев на корточки, почти как сам Корнелиус, когда тот гуляет с «четырьмя господами», сияясь обнять и вести ее как взрослую даму, он проходит со смущенной Лорхен несколько па шимми. Те, кто их видит, смеются до упаду, и это как бы служит толчком вновь завести граммофон и всем сообща пуститься танцевать. Взявшись за ручку двери, профессор покачивает головой, плечи его вздрагивают от смеха, затем он уходит к себе. Улыбка еще несколько мгновений не сходит с его лица.

Затененная абажуром, на столе горит лампа, он снова листает свои книги и пишет — надо разделаться хоть с мелкими обязательствами. Немного погодя он замечает, что общество перекочевало из гостиной в будуар его жены. Эта комната сообщается с его кабинетом и с гостиной. Оттуда доносится говор, в него вплетаются вкрадчивые звуки гитары. Стало быть, господин Меллер сейчас будет петь. Да, вот он и запел. Аккорды гитары звучно вторят сильному басу банковского служащего, он поет на чужом языке, кажется, на шведском, профессор не может этого определить до конца песни, встреченной шумным одобрением. Дверь в будуар завешена портьерой, заглушающей звуки. Когда Меллер начинает новую песню, Корнелиус тихонько переходит туда.

В комнате — полумрак, горит только затемненная стоячая лампа, а под нею на низкой оттоманке сидит Меллер, поджав ноги и пощипывая большим пальцем струны гитары. Остальные расположились как попало, все равно для всех места не хватает. Одни стоят, другие, и девушки в том числе, сидят просто на полу, на ковре, обняв колени руками или вытянув ноги.

Гергезель, хоть он и в смокинге, тоже уселся прямо на пол у ножек рояля, а рядом с ним, разумеется, фрейлейн Пляйхингер. И «маленькие» здесь.

Сидя в своем кресле напротив певца, госпожа Корнелиус держит обоих на коленях. Байсер, маленький невежа, не обращая внимания на певца, вдрут начинает гром-

ко говорить, ему грозят пальцем, на него шикают — оробев, он замолкает. Лорхен никогда бы так не оплошала. Тихо и кротко сидит она на коленях матери. Профессору хочется исподтишка подмигнуть своей девочке, он ищет ее взгляда, но Лорхен его не видит, хотя, кажется, не видит и певца. Она думает о чем-то своем. Меллер поет «Joli tambour»:\*

Sire, mon roi, donnez-moi votre fille...\*\*

Все восхищены. «Прелестно!..» — слегка в нос, на свой особый, гергезелевский манер тянет Макс. Потом господин Меллер поет по-немецки. Он сам написал музыку к этой песенке. Юное общество встречает и ее бурными восторгами.

Нищенка бабенка собралась на богомолье пойти.

Иейюхе!

Нищий муженек думает о том, как бы с ней пойти.

Ти дельдумтей де!

Эта веселая песенка нищих всех приводит в восхищение. «Чудо как хорошо!..» — опять же на свой гергезелевский манер тянет Макс. За сим следует нечто венгерское, тоже «коронный номер», хоть и на никому не понятном языке. И Меллер опять пожирает лавры. Профессор тоже аплодирует, с подчеркнутой горячностью. Этот экскурс в историю, в искусство прошлого, среди фокстротной одержимости, кажется ему светлым проблеском, согревает его сердце. Корнелиус подходит к певцу, приносит поздравления, расспрашивает о песнях, об источниках, какими тот пользовался, и Меллер обещает принести профессору свой сборник песен и нот.

Корнелиус с ним подчеркнуто любезен еще и потому, что, по обыкновению всех отцов, тотчас же начинает сопоставлять возможности и дарования чужого юноши с сыновними, испытывая при этом горечь, зависть и стыд.

Взять хотя бы этого Меллера — примерный банковский служащий (он понятия не имеет, так ли уж примерно трудится в своем банке Меллер), к тому же у него несомненно особый талант, для совершенствования которого, конечно, понадобилось немало знаний и упорства. Тогда как мой бедный Берт ничего не знает, ничего не умеет и способен только гаерничать, хотя у него, пожалуй, и на это недостает способностей! Стараясь соблюсти беспристрастность, он тешит себя мыслью, что Берт как-никак недурной мальчик, возможно даже с лучшими задатками, чем преуспевающий Меллер. Как знать, возможно, где-то в глубине у него и бьется поэтическая жилка или еще что-либо эдакое, а танцевально-кабацкие затей — пустое мальчишество, блуждающие огоньки в трясине наших дней. Но отцовская зависть и пессимизм пересиливают. И когда Меллер начинает новую песню, доктор Корнелиус уходит к себе.

Время близится к семи, а его внимание по-прежнему не сосредоточено; вдруг он вспоминает о коротеньком деловом письме — его отлично можно написать сейчас и таким образом убить время, — вот уже и половина восьмого. В половине девятого подадут итальянский салат, стало быть, надо поскорее выйти, опустить письма и получить в зимней мгле причитающуюся ему толику воздуха и моциона. В гостиной давно уже возобновились танцы, а ему надо пройти через нее, чтобы попасть в прихожую к своему пальто и галошам, но теперь это не смущает профессора, его лицо уже примелькалось молодым людям, он уже старый знакомый и не стеснит их. Он убирает свои бумаги, берет письма, выходит и даже на минуту-другую задерживается около жены, которая сидит в кресле у двери его кабинета.

---

\* «Пригожий барабанщик» (фр.).

\*\* Государь, мой король, отдайте мне вашу дочь (фр.).

Она сидит и смотрит, иногда к ней подходят «большие» или кто-нибудь из гостей. Корнелиус остается стоять рядом и тоже, улыбаясь, приглядывается к веселью, теперь явно достигшему кульминационной точки. Есть здесь и другие зрители: «сизая Анна», исполненная суровой добродетели, стоит у самой лестницы, так как «маленькие» всё не навеселятся всласть, и она считает себя обязанной присматривать за Байсером, чтобы он не слишком порывисто кружился: при его «густой крови» это может стать опасным. Но и подвальные жители хотят полюбоваться на развлечения «больших»: дамы Хинтерхефер и Ксавер стоят у двери в буфетную и смотрят во все глаза. Фрейлейн Вальбурга, старшая из деклассированных сестер, так сказать олицетворяющая собою кухню (называть ее кухаркой не следует, ей это не по нраву), смотрит на бал своими карими глазами через шлифованные стекла круглых очков, дужки которых она обмотала холщовой тряпочкой — чтобы не давили переносицу. Это благодушная, потешная особа, тогда как фрейлейн Цецилия, младшая, хотя отнюдь не молодая ее сестра, блюдет достоинство бывших представительниц третьего сословия, отчего с ее лица не сходит величаво-спесивое выражение. Фрейлейн Цецилии очень горько оттого, что из мелкобуржуазной сферы она низринута в подвал для прислуги. Она решительнейшим образом отказывается надеть наколку или что бы то ни было, свидетельствующее о ее положении горничной, и самые мрачные мгновения ее жизни наступают регулярно каждую среду, когда Ксавер уходит со двора и ей приходится подавать ужин. Она ставит блюда на стол, отвернув лицо и сморщив нос, — поистине свергнутая королева! Истинная мука смотреть на ее унижение, и однажды, когда «маленькие» случайно ужинали со взрослыми, оба они, взглянув на Цецилию, как по команде, громко зарыдали.

Подобные терзания незнакомы юному Ксаверу. Он не без удовольствия прислуживает за столом и справляется с этим делом достаточно ловко.

Ловкость у него равно врожденная и благоприобретенная, так как раньше он служил младшим кельнером в ресторане. Во всем прочем он совершенный бездельник и ветрогон не без положительных черт, как утверждают его нетребовательные хозяйева, — но все же совершенный бездельник. Надо брать его таким, как есть, и не требовать, чтобы на терновнике росли винные ягоды. Он дитя и плод нынешнего безвременья, типичный представитель своего поколения, лакей революционной поры, симпатичный большевик. Профессор прозвал его «распорядителем балов», так как чуть дело коснется чего-либо небудничного и забавного, Ксавер чувствует себя как рыба в воде и становится необыкновенно услужлив и расторопен. Но вот представление о долге ему совершенно чуждо, и приневолить его к выполнению ежедневных уныло-однообразных обязанностей так же невозможно, как невозможно приневолить иных собак прыгать через палку.

Видимо, это противно самой его природе, а потому обезоруживает и настраивает примирительно. Но если происходит что-либо необычное, чрезвычайное, забавное — он готов хоть среди ночи вскочить с постели. В будни же поднимается не раньше восьми часов; валяется, да и все, — не прыгает через палку. Но проявления Ксаверова непутевого бытия — звуки его губной гармошки, его сиплое, зато преисполненное чувства пение, его залихватское посвистывание — день-деньской несутся снизу из кухни, а дымом его сигарет насквозь пропитан весь подвальный этаж. Дамы, потерпевшие социальное крушение, трудятся не покладая рук, а он стоит и глазеет на них.

По утрам, когда профессор завтракает, Ксавер отрывает листок календаря на его столе и больше ничего в кабинете не убирает. Доктор Корнелиус много раз приказывал ему оставить календарь в покое, ведь Ксавер не прочь заодно оторвать и следующий листок — что уже может нарушить для профессора ход времени. Но эта работа — отрывать листки — по душе юному Ксаверу, и он не намерен от нее отказаться.

Ксавер любит детей, и это, несомненно, одна из самых привлекательных черт его характера. Он простодушно играет с «маленькими», искусно мастерит для них всякую ерунду, а иногда, шлепая толстыми губами, даже читает им вслух, что производит несколько странное впечатление. Кино он любит страстно; придя оттуда, впадает в уныние, в тоску, раздражается длинными монологами. Смутная мечта, что однажды он и сам будет принадлежать к миру кино, что именно там ему улыбнется счастье, владеет им. Основанием для этой мечты служат кудри, отбрасываемые со лба, ловкость, удаля. Он часто влезает на ясень перед домом — высокое, шаткое дерево — и, карабкаясь с ветки на ветку, добирается до самой верхушки, так что всякого, кто глядит на него снизу, берет страх и оторопь. Там, наверху, он закуривает сигарету и, раскачиваясь, как на качелях, отчего высокий ствол сотрясается до самых корней, высматривает кинорежиссера, который рано или поздно придет этим путем, чтобы его ангажировать.

«Если бы Ксавер сменил свою полосатую лакейскую куртку на пиджачный костюм, он запросто мог бы принять участие в танцах, ничем не выделяясь среди остальных гостей. Друзья-приятели «больших» являют собой довольно пестрое зрелище: мало кто из молодых людей одет в вечерний костюм, большинство художественным беспорядком в одежде смахивает на песенника Меллера — это относится не только к юношам, но и к представительницам прекрасного пола. Стоя у кресла жены, профессор озирает картину бала, он понаслышке знает кое-что о социальном положении присутствующей здесь молодежи. Это гимназистки, студентки, девушки, работающие в художественной промышленности. Но среди мужчин попадаются и отъявленные проходимцы, темные дельцы — порождение своего времени; на этот скользкий путь их, конечно, толкнула нынешняя жизнь. Бледнолицый верзила с жемчужными запонками, сын зубного врача — всего-навсего биржевой маклер, но, если верить молве, преуспевает в этом качестве не хуже Аладдина с его волшебной лампой. У него есть автомобиль, он закатывает пиры с шампанским и по любому поводу или даже без повода дарит своим друзьям ценные безделушки из золота и перламутра. Он и сегодня принес подарки молодым хозяевам: Бертю — золотой карандашик, Ингрид — огромные серьги кольцами, настоящее дикарское украшение; слава богу, их не приходится вдевать в уши, они держатся просто на зажимах. Подбежав к родителям, «большие» хвалятся своими подарками, а те, разглядывая их, только качают головой: Аладдин же, стоя поодаль, несколько раз им кланяется.

Молодежь рьяно танцует, если можно назвать танцем занятие, которому они сосредоточенно предаются. Как-то по-особому прильнув друг к другу, придав новомодный изгиб телу, животом вперед, слегка покачивая бедрами, словно замороженные чьим-то тайным повелением, они медленно ходят по ковру, не зная усталости, — да и можно ли от этого устать? Здесь не увидишь ни вздымающейся груди, ни пылающих волнением щек. Иногда две девушки танцуют друг с другом, а не то и двое молодых людей. Им все равно, они просто шагают взад и вперед под экзотические завыванця граммофона, в который нарочно вставлены толстые иголки, чтобы еще громче звучали эти шимми, фокстроты, уанстеппы, все эти дубль-фоксы, африканские шимми, яванские пляски и креольские польки — дикарские пряные мелодии, то изнемогающе-томные, то бодрые, как военный марш, или негритянская музыка с чуждыми ритмами, монотонная, только что приукрашенная нарядной оркестровкой — звоном и громом ударных инструментов.

— Что это за пластинка? — спрашивает Корнелиус у Ингрид, проходящей мимо него в паре с бледнолицым маклером. Сравнительное изящество замысла и отдельные недурные подробности примиряют его с влекущей томностью сыгранной сейчас вещицы.



— Князь Паппенгейм, «Утешься, милая детка!» — отвечает Ингрид, приятно улыбаясь и показывая при этом свои белые зубы.

Табачный дым колышется под люстрой. Чад праздника стусился, суховато-сладкий, плотный, насыщенный всевозможными запахами, — в каждом, кто был в юности достаточно восприимчив к впечатлениям жизни, он будит воспоминания о страданиях незрелой души.

«Маленькие» все еще в гостинной. Они так рады празднику и тому, что им позволили побыть здесь до восьми часов. Гости свыклись с их присутствием, малыши в какой-то мере стали неотъемлемой принадлежностью вечера. Вышло так, что они разлучились. Байсер в своем голубом бархатном платьице одиноко кружится на середине ковра, а Лорхен препотешно гоняется за одной из танцующих пар, пытается ухватиться рукой за смокинг кавалера. Кавалер — Макс Гергезель, дама — фрейлейн Пляйхингер.

Они так красиво ступают, что смотреть на них — истинное наслаждение.

Что ж, и дикие танцы современности могут радовать глаз, если их танцуют искусно. Молодой Гергезель прекрасно ведет свою даму, по всем правилам и в то же время непринужденно. Как изящно делает он пресловутый «шаг назад», когда его не теснят соседние пары. Но и «шаг на месте», даже в самой давке, получается у него удивительно изящно, чему немало способствует податливая гибкость партнерши, оказавшейся на диво грациозной, как, впрочем, многие полные женщины. Прильнув друг к другу, они весело болтают, видимо даже не замечая настойчиво преследующей их Лорхен. Но остальных веселит упорство девочки, и когда все трое оказываются возле доктора Корнелиуса, он пытается поймать свою маленькую и притянуть ее к себе. Лорхен, чуть не плача, увертывается от него; сейчас она и знать ничего не хочет об «Абеле», не нужен он ей. Упершись ручонками ему в грудь, отворотив свое милое личико, возбужденная, рассерженная, она спешит удрать от него.

Профессор не в силах подавить в себе горькой обиды. В это мгновение он ненавидит бал, отравивший своей сумятицей сердце его дочурки, разлучивший его с нею. Его любовь, несколько предвзятая и в корне своем не совсем безупречная, легко ранима. Улыбка не сходит с его лица, но печальный взгляд бесцельно устремлен на узор ковра.

— Не пора ли маленьким спать? — говорит он жене. Но она просит его повременить хоть четверть часика: вся эта суতোлка так нравится детям. Он соглашается, — улыбка опять уже играет на его лице, — покачивает головой, минуту-другую еще стоит подле жены, а потом идет в переднюю, до отказа заваленную пальто, шальями, шляпами и галошами.

Покуда он разыскивает в этом хаосе свои вещи, в переднюю, отирая лоб носовым платком, входит Макс Гергезель.

— Господин профессор, — говорит он, растягивая слова на свой, гергезелевский манер, — кажется, собрались прогуляться. — И, как подобает благовоспитанному молодому человеку, бросается помогать Корнелиусу. — Ну и влип же я со своими туфлями! Жмут, не хуже Карла Великого. Оказывается, эти штуковины мне просто не впору, и дело не только в жесткой коже, они так жмут, вот здесь, на ноготь большого пальца, — произнося эту тираду, он стоит на одной ноге, держа другую обеими руками, — что никакого терпения не хватает! Надену лучше уличные башмаки, и дело с концом... О, разрешите мне помочь вам!

— Нет, нет, благодарствуйте! — говорит Корнелиус. — Не беспокойтесь, прошу вас. Кончайте лучше со своими мучениями. Право же, вы слишком любезны, — добавляет он, когда Гергезель, опустившись на одно колено, застегивает ему пряжки на ботах.

Растроганный почтительной и простодушной услужливостью, профессор испытывает искреннюю благодарность.

— Желаю вам еще хорошенько повеселиться! Главное, скорей переобуйтесь! Когда туфли жмут, разумеется, не до танцев! Обязательно снимите их! Всего доброго, пойду немножко подышать воздухом!

— Сейчас буду опять танцевать с Лорхен! — кричит ему вдогонку Макс. — Танцорка будет — первый сорт, когда подрастет, ручаюсь головой!

— Вы полагаете? — говорит профессор уже с порога. — Ну, да вам и карты в руки. Смотрите только поосторожней, не повредите себе позвоночника, сгибаясь в три погибели! — Кивнув головой, Корнелиус уходит. «Славный мальчик, — думает он, выходя из дома. — Студент, а там, глядишь, и инженер, все ясно, все в порядке. К тому же недурен собой и умеет держать себя в обществе!» И снова отцовская зависть, тревога за своего бедного Берта одолевают его, и снова будущее чужого юноши представляется ему в розовом свете, а будущее сына — в черном.

Так начинает доктор Корнелиус свою вечернюю прогулку.

Он идет по аллее, затем, перейдя через мост, дальше по набережной до следующего моста. Погода сырая, пронизывающая, сеет снежок. Подняв воротник, зацепив рукоятку палки за плечо, Корнелиус, чтобы прочистить легкие, глубоко вдыхает холодный вечерний воздух. Как и всегда, во время прогулки он занят мыслями о своей науке, о завтрашней лекции и сейчас уже подыскивает слова, в которых будет говорить о Филиппе Втором и его борьбе с немецкой Реформацией. Грустными и справедливыми должны быть эти слова. Да, да, прежде всего справедливыми! Справедливость — душа науки, основной принцип познания, и для молодежи только ее свет должен озарять исторические события. Как ради морального их воспитания, так и по соображениям гуманно-личного характера, чтобы не оскорбить этих молодых людей, даже косвенно не задеть их политических убеждений, которые в наши дни так многообразны и взаимно противоположны. Горючего материала здесь хоть отбавляй, и ничего не стоит вызвать шум и свист одной части аудитории, даже скандал, если возьмешь сторону тех или иных антагонизирующих исторических сил. «Но взять сторону, — думает он, — неисторично, исторична только справедливость. И, конечно, под этим углом и по здравом размышлении... Справедливости вообще не существует?» — спрашивает себя профессор и так углубляется в эту мысль, что письма в почтовый ящик у следующего моста опускает уже машинально, и затем поворачивает назад.

Эта неотвязная мысль для науки разрушительна, но в то же время она и сама наука, дело ее совести, психологии, а потому должна быть взята на учет, по долгу совести и вполне без предрассудков, как бы она тебе ни мешала... Во власти этих смутных догадок профессор возвращается домой.

У парадного стоит Ксавер и, видимо, дожидается его.

— Господин профессор, — говорит он, шлепая толстыми губами, и, встряхнув головой, откидывает назад волосы. — Поживей ступайте-ка наверх к Лорхен. Ну и дела!

— Что случилось? — с испугом спрашивает Корнелиус. — Заболела?

— Не то чтоб заболела, — отвечает Ксавер, — так накатило на нее, — плачет девчоночка, прямо в три ручья разливается. А все тот господин виноват, что с ней танцевал, ну этот франт, как его... господин Гергезель.

Из гостиной никак было ее не увести, ну нипочем, а теперь ревмя ревет.

Вот уж напасть, прямо беда!

— Вздор! — говорит профессор, входит в переднюю и швыряет как попало свою одежду. Он молча распахивает завешенную портьерой стеклянную дверь и, не глядя на танцующие пары, сворачивает направо, к лестнице. Наверх он взбегает через две ступеньки и через верхнюю прихожую, и небольшой коридорчик идет прямо в детскую, сопутствуемый Ксавером, который остается у двери.

В детской еще горит свет. По стенам тянется расписанный пестрыми картинками фриз, на большой полке в беспорядке накиданы игрушки, лошадь-качалка, с алыми лакированными ноздрями, стоит, упираясь копытами в гнутые раскрашенные полозья, а на покрытом линолеумом полу валяются дудка, кубики, вагончики...

Белые кровати с сетками поставлены совсем близко друг от друга.

Кровать Лорхен в углу у окна, Байсера — чуть поближе к середине комнаты.

Байсер спит. Как и всегда, он звучным голосом прочитал молитву, не без под- сказки «сизой Анны», и тотчас же словно провалился в сон, в бурный, пылающий багрянцем, непробудно крепкий сон; теперь хоть пали над ним из пушек — не услышит; руки со сжатыми кулачками закинута на подушку, волосы неловко нахлобученного «паричка» слиплись в яростном сне.

Кровать Лорхен обступили женщины. Кроме «сизой Анны», у самой сетки стоят дамы Хинтерхефер, оживленно переговариваясь то с нею, то между собой. Когда входит профессор, они поспешно отступают в сторону, и тут он видит Лорхен: бледная, она сидит среди своих маленьких подушек и плачет так горько, как никогда еще не плакала на памяти доктора Корнелиуса.

Красивые маленькие руки беспомощно лежат на одеяле, ночная рубашка, отороченная узкими кружевами, соскользнула с хрупкого, как у воробышка, плеча, а голова, любимая эта головка, со слегка выдавшимся вперед подбородком, точно цветок сидящая на тонком стебле шейки, запрокинута назад, так что плачущие глаза Лорхен устремлены наверх, в угол между потолком и стеной, и кажется, будто она поверяет свою великую беду кому-то невидимому. Но, может быть, девочка просто содрогается от рыданий и оттого покачивается и никнет ее головка, а подвижной рот с изогнутой верхней губкою полураскрыт, как у маленькой *mater dolorosa*.<sup>\*</sup> Потоки слез льются из ее глаз, и она не перестает испускать тихие жалобные стоны, несколько не похожие на преувеличенные, надсадные вопли маленьких неслухов; о большом и настоящем сердечном горе свидетельствуют эти стоны, и у профессора, который вообще не в силах видеть плачущей Лорхен, а плачущей так, как сейчас, он никогда ее не видел, вызывают чувство нестерпимого сострадания.

И в первую очередь это чувство оборачивается острым раздражением против толкущихся здесь дам Хинтерхефер.

— Полагаю, — говорит он, повысив голос, — что стол еще не накрыт к ужину. Но все хлопоты, видимо, возлагаются на госпожу Корнелиус?..

Для чуткого слуха представительниц третьего сословия этого предостаточно. Разобиженные, они удаляются; ко всем неприятностям, еще Ксавер Клейнспютль, стоя в дверях, строит им вдогонку насмешливые гримасы.

Выходец из низов общества и, так сказать, с молодых ногтей к этому обстоятельству привыкший, но обожает подтрунивать над социальным падением дам.

— Девочка моя, девочка, — сдавленным голосом говорит профессор и, опустившись на стул возле кровати, обнимает маленькую страдальицу. — Что же это случилось с моей девочкой?

Лорхен орошает его лицо слезами.

— Абель... Абель... — запинаясь и всхлипывая, бормочет она. — Зачем... Макс... не мой брат? Пусть... Макс... будет мой брат!..

---

\* Скорбящей божьей матери (лат.).

«Какая беда, какая непоправимая беда!.. Вот что натворили эти танцы, этот балльный угар!» — думает Корнелиус и, не зная, что предпринять, смотрит на «сизую Анну», которая, скрестив руки на фартуке, степенная и суровая, стоит в ногах кровати.

— Все оттого, — изрекает она многозначительно и строго, поджимая нижнюю губу, — что в ребенке женские чувства заговорили...

— Попридержите свой язык, — сердито отвечает Корнелиус. Хорошо хоть, что Лорхен не отталкивает, — не прогоняет его, как тогда в гостиной, а беспомощно льнет к нему, неразумно упрямо твердя только одно: «Пусть Макс будет мой брат...» — и, жалобно всхлипывая, просится обратно в гостиную: пусть Макс еще потанцует с ней! Но Макс танцует с Пляйхингер, дебелой особой, имеющей все права на него, Лорхен же никогда еще не казалась терзаемому жалостью профессору таким малым воровышкой, как сейчас, когда она, вся дрожа, жмет к нему, не понимая, что случилось с ее бедным маленьким сердечком. Где ей понять, что она страдает из-за дебелой, взрослой Пляйхингер, которая может до упаду танцевать в гостиной с Максом, тогда как Лорхен это было дозволено один только раз, и то в шутку, хотя она куда милее. Но молодой Гергезель здесь ведь ни при чем, безумием было бы поставить ему это в вину. Страдания Лорхен — противозаконны и несправедливы, значит, необходимо их скрывать. Но ее чувство безрассудно, а потому и безудержно. Вот в чем беда! «Сизая Анна» и Ксавер, правда, не видят этой беды, но, верно, по глупости или в силу душевной черствости. Отцовское же сердце истерзано стыдом и страхом перед этим и противозаконным несправедливым чувством.

Тщетно внушают бедной Лорхен, что у нее и без того есть отличный маленький братик — беспробудно спящий рядом Байсер. Сквозь слезы она пренебрежительно смотрит на соседнюю кровать и требует Макса. Не действуют на нее ни обещание профессора, что завтра они, «пятеро господ», будут гулять по столовой хоть до самого вечера, ни интереснейшие подробности, которые он собирается, еще до обеда, внести в игру с подушкой.

Ничего она об этом знать не хочет и также не хочет положить голову на подушку и уснуть.

Но вдруг оба они — Абель и Лорхен — начинают прислушиваться: что ж это совершается там? Шаги... двое шагают по коридору... и вот чудо свершилось, оно уже на пороге детской...

Ну разумеется, тут расстарался Ксавер!

Ксавер Клейнспютль не только торчал у двери, глумясь над изгнанными из детской дамами. Он пораскинул мозгами и решил кое-что предпринять. Спустился в гостиную, потянул за рукав господина Гергезеля, шлепая толстыми губами, что-то рассказал ему и о чем-то попросил. И вот они оба здесь. Сделав свое дело, Ксавер опять стоит у двери, но Макс Гергезель, в смокинге, с чуть приметными бачками на щеках, улыбающийся, черноглазый, идет через комнату прямо к кровати Лорхен — идет в горделивом сознании своей роли принца, дарящего счастье, рыцаря Лоэнгринга, с уст которого вот-вот сорвутся слова: «Я здесь, а значит, нет ни бед, ни горя».

Корнелиус потрясен почти так же, как и сама Лорхен.

— Смотри-ка, — говорит он едва слышно, — кто к нам пришел! Как это любезно со стороны господина Гергезеля!

— Уверю вас, господин профессор, никакой любезности здесь нет, — отвечает Макс. — Вполне понятно, что мне захотелось еще разок взглянуть на даму, с которой я танцевал, и пожелать ей спокойной ночи.

И он подходит к онемевшей Лорхен в зарешеченной кровати. Она блаженно улыбается сквозь слезы. Высокий, звенящий звук, сладостный вздох счастья слетает с ее губ, затем она молча поднимает на рыцаря Лоэнгринга свои золотистые глаза, чуть распухшие и покрасневшие, но насколько же они красивей глаз дебелой Пляйхингер.

Лорхен не простирает рук, не пытается обвить ими шею Макса. Ни счастья, ни горя своего она не понимает, — но она этого не делает. Прелестные маленькие руки по-прежнему тихо лежат на одеяле, а Маке опирается локтями на решетку кровати, как на перила балкона.

— «Кто в жизни целыми ночами на ложе, плача, не сидел!» — И он исподтишка взглядывает на профессора, ожидая одобрения своей эрудиции. — Ха-ха-ха, «утешься, милое дитя»! Ты так мила. Я уже вижу тебя взрослой! Смотри только, не подурней! Оставайся такой, как есть! Ха-ха-ха! В ее-то годы! Ну, а теперь баиньки! Не будешь больше плакать, раз я пришел к тебе, маленькая Лорелея, да?

Лорхен просветлела и глядит на него. Худое, как у воробышка, плечо оголилось, профессор старается натянуть на него рукавчик, обшитый кружевом. На ум ему невольно приходит сентиментальная история о ребенке, который, умирая, все просил, чтобы к нему привели клоуна из цирка, однажды только виденного, но не забытого. В костюме, расшитом серебряными мотыльками, клоун явился к ребенку в его смертный час — и дитя почил в мире. Макс Гергезель не расшит мотыльками. Лорхен, слава богу, не при смерти, на нее только «накатило», в остальном же, право, эта история — в том же духе. И чувство профессора к юному Гергезелю, который стоит, небрежно прислонясь к кровати, и без удержу болтает — впрочем, больше для отца, чем для ребенка, — Лорхен об этом, конечно, и не подозревает, — являет собой диковинное сплетение признательности, замешательства, ненависти и восхищения.

— Доброй ночи, маленькая Лорелея! — говорит Гергезель, протягивая ей вверх сетки руку.

Крошечная, красивая, белая ручка исчезает в большой, сильной, красноватой руке.

— Спи спокойно, и пусть тебе приснятся сладостные сны! Только, боже упаси, не я! Ха-ха-ха, в ее-то годы!

На этом завершается посещение сказочного клоуна, Корнелиус провожает его до дверей.

— Не стоит благодарности! Помилуйте, за что же меня благодарить! — великодушно и учтиво обороняется Макс. Он уходит, и Ксавер за ним — внизу уже пора подавать итальянский салат.

Но доктор Корнелиус возвращается к Лорхен; теперь она улеглась, склонила свою головку на плоскую маленькую подушку.

— Вот видишь, как хорошо все вышло, — говорит он, с нежностью оправаля на ней одеяльце, она кивает ему и всхлипывает напоследок. Еще добрых четверть часа сидит он у сетки и смотрит, как она погружается в дремоту, следуя примеру Байсера, который давным-давно спит сном праведника. Шелковистые каштановые волосы Лорхен, как обычно во сне, свиваются в красивые кольца, за сомкнутыми ресницами прячутся глаза, выплакавшие столько горя, ангельский рот с изогнутой, припухлой верхней губкой приоткрыт в сладостном умиротворении, и запоздалое всхлипывание только изредка прерывает тихое и мерное дыхание.

И как спокойно лежат ее ручки — бело-розовые ручки-лепестки, одна на голубом стеганом одеяле, другая под щекой на подушке. Сердце доктора Корнелиуса полнится нежностью.

Какое счастье, думает он, что с каждым вздохом Лорхен Лета струит дремотное забвенье в ее маленькое сердце, что в детстве такая ночь ложится непроходимой пропастью между сегодня и завтра. Наутро молодой Гергезель, конечно же, станет лишь бледной тенью, бессильной причинить ей какое бы то ни было горе, и веселость — еще не подвластная воспоминаниям — обяжет Лорхен вернуться к увлекательной игре в подушку, к прогулке «пятерых господ», вместе с «Абелем» и Байсером.

Так возблагодарим же небо!